

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Лев Гудков

Кризис понимания «реальности»

События и их «дереализация»: дискуссии о результатах выборов 2016 года

Поражение партий внесистемной оппозиции в сентябре 2016 г. лишь очень немногих политиков-демократов и близких к ним публицистов заставило задуматься о состоянии российского общества. Преувеличивать глубину этой задумчивости не стоит, поскольку так или иначе наши демократы в массе своей сумеют обойти обидные для них факты и удержаться от неприятных выводов. Тем не менее какие-то признаки замешательства начинают проступать в дискуссиях, ведущихся в этой среде. Противоречащие друг другу призывы «надо идти на выборы» («безответственно самим отказываться от возможности политического участия») и «не следует принимать участие в этих выборах» (ибо в ситуации полного контроля над электоральной машиной и манипулирования избирателями участие в них будет означать лишь легитимацию и оправдание путинского режима), отражали состояние общей дезориентированности и растерянности либералов после Крыма.

Социологические опросы Левада-Центра свидетельствовали о весьма незначительной доле российского населения, готового поддержать либералов на предстоящих думских выборах. Оппоненты путинского режима не надеялись на значительный успех своих партий и массовую поддержку населения. Расчет был исключительно прагматическим: получить хотя бы минимальное представительство в Думе и региональных законодательных собраниях и тем самым удержаться в том пространстве мнимой политики, которое действу-

ющий режим оставляет для них¹. Поэтому шок после выборов вызван не тем, что «ЕР», собрав — официально — 54% голосов, получила конституционное большинство в Думе², а тем, что «потенциально демократический» избиратель, несмотря на все уговоры сходить на выборы и проголосовать, остался дома³. И вовсе не из тех соображений, которые выдвигали про-

¹ Оправдания для подобного участия в выборах могут приводиться самые разные — от возможности малых дел и помощи конкретным группам населения или отдельным людям до обретения опыта участия в электоральных кампаниях и подготовки к реальным выборам когда-нибудь в будущем, когда режим начнет разваливаться сам собой. В любом случае ни новые идеи, ни принципы не были в этот раз стержнем программных выступлений оппозиции.

² Получение единоросами абсолютного большинства в ГД означает, что нынешний режим полностью готов к изменению Конституции и отмене тех статей, которые должны были гарантировать необратимость демократического развития страны, недопустимость восстановления тоталитаризма в России. Прежде всего это касается двух вещей: запрещения установления единой государственной идеологии (условия необходимого, но недостаточного для развития демократии) и утверждения приоритетности международного права по отношению к российскому законодательству. После этого будут пересмотрены и другие важнейшие положения конституционного порядка переходного периода, касающиеся усиления правового иммунитета действующей власти. Понятно, что значимость положений Основного закона страны по мере укрепления путинизма год от года слабеет, что после принятия целого ряда репрессивных законов (в 2012–2016 гг.) они к настоящему времени носят исключительно декларативный характер, поскольку правоприменительная практика за 25 лет далеко ушла от этих исходных принципов. И тем не менее статус закона прямого действия пока еще имел некоторое сдерживающее значение в качестве пусть и символического, но барьера против перерождения нынешнего государственного строя в тоталитарный порядок.

³ Как и 20 лет назад, лидеры демократов должны были бороться не с идеологическими противниками, а с апатией сторонников. Об этом см.: Левада Ю. Человек политический: сцена и роли переходного периода. В кн.: Левада Ю. От мнений к пониманию. М.: МШПИ, 2000. С. 98.

тивники участия в выборах. А это означает, что их избиратели — прозападно ориентированные противники авторитаризма и сторонники институциональных реформ в стране — руководствуются какими-то иными представлениями, нежели те, которые полагают или приписывают им лидеры мнений, выступающие от имени части населения, которая недовольна режимом Путина¹.

И дело здесь не в частных разногласиях этих групп с руководством внесистемных партий, а в неадекватности моделей реальности, значимых для тех и других.

Последовавшие после выборов вялые межпартийные разборки, обличения «партии дивана», разговоры об апатии городского класса, об усталости общества, разборы электоральной статистики по регионам, подсчеты доли фальсификаций, сетования на скудость предвыборных средств, на пропаганду, давление администрации и т.п. серьезно воспринимать в этой ситуации не приходится². Не утешает проигравших даже то, что «ЕР», «партия власти», раз за разом получает все меньшее число голосов, если смотреть на абсолютные цифры: в 2007 г. за нее проголосовало 44,7 млн избирателей (при официальной явке 64%), в 2011 г. — 32,4 млн (при явке 60%), в 2016 г. — 28,5 млн человек (при явке 47,9%; без Крыма — 27,7 млн избирателей). Другими словами, за 10 лет доля избирателей, проголосовавших за «ЕР», сократилась на 40%, откатившись к началу 2000-х: на выборах 2003 г. «ЕР» собрала 22,8 млн голосов (37,6% при явке 55,7%). Общее число имеющих право голоса за это время составляло 109–110 млн человек. Доля «статистически аномального голосования», по расчетам С. Шпилькина, в 2016 г. достигала 11% от численности потенциальных избирателей (12 млн

голосов), или четверть от проголосовавших по данным ЦИК³.

Политологи (я не имею в виду здесь кремлевских апологетов и телекомментаторов) считают данные о статистических отклонениях показателями фальсификаций (подлогами протоколов избирательных комиссий, вбросами и т.п. махинациями). Соответственно, и результаты опросов общественного мнения, фиксирующие электоральные или политические установки населения, объявляются в лучшем случае неадекватными, в худшем — такими же фальсификациями, как и официальные результаты выборов.

Нам, сотрудникам Левада-Центра, опирающимся на данные наших социологических опросов, подобные оценки масштабов фальсификаций представляются завышенными. Как мы полагаем, их авторы резко сужают диапазон социологических объяснений мотивации электорального поведения, оставляя в качестве приемлемого лишь полярные варианты («за» и «против» действующей власти). Они не учитывают спектр других возможных мотивов участия в выборах — от состояния административной покорности населения (или страха перед последствиями отказа) до потребности в коллективной идентификации, предлагаемой режимом атомизированному и дезориентированному населению, весьма значимой для социально фрустрированного человека, от принудительной лояльности до неполитической «поддержки и одобрения» власти, и не только на «особых территориях» (Кавказ, Кемерово и другие регионы), но и в социальных средах с «нормальным» типом электорального поведения. Отсутствие мотивов для демонстративно альтернативного по отношению к власти политического поведения нельзя отождествлять с подлогом, как это принято в среде критиков электоральных практик путинского режима. Не ставя под сомнение сами факты фальсификаций на голосовании, я тем не менее не считаю, что у нас есть основания рассматривать показатели «аномального голосования» исклю-

¹ Разумеется, не все недовольные режимом Путина могут быть причислены к сторонникам демократии, правового государства, к либералам. Среди настроенных антипутински можно найти и коммунистов (= пенсионеров), и националистов, и людей с совершенно смазанными или эклектическими политическими и идеологическими установками.

² См., например, характерные пассажи и объяснения проигравших: «Сергей Жаворонков: Первый фактор — это официальная пропаганда и официальная лживая социология, которая била людей несколько лет по башке и объясняла, что рейтинг Путина 86%, что все решено, ходить никуда не надо. Но, кстати, официальные итоги выборов, где со всеми Чечнями "Единая Россия" набрала только 54% голосов, показывают, что сказки про 86% были ложными. И второе ... "диванная партия" и совершенно вредительская деятельность, которую на протяжении последних полугодия вел Алексей Навальный и его соратники. Они последовательно "мочили" "Яблоко" и ПАРНАС». URL: <http://www.svoboda.org/a/28002477.html> от 20.10.2016.

³ В 1993 г. явка составила 54,8%, в 1995-м — 64,76%, в 1999-м — 61,85%. Подробнее о легитимности выборов см.: Кынев А. Два раза в год // Ведомости. № 228 (4217) от 5.12.2016. С. 6. Интересно, что взвешивание «по Шпилькину» массива данных полученного в ноябре опроса «Курьер», проведенного по нашей стандартной технологии (попытка введения поправочных коэффициентов на фальсификацию, предложенных С. Шпилькиным на семинаре в Левада-Центре), дает либо полное отсутствие изменений в распределении мнений, либо минимальные смещения в ответах респондентов на «политические» вопросы анкеты (на 1–2 пп.), которые трудно интерпретировать, поскольку они ниже величины статистически допустимых колебаний.

чительно только как результат манипуляций местных администраций, аппарата «ЕР» и избирательных комиссий. Это слишком простое объяснение для массового поведения в условиях реставрации или имитации тоталитарных практик. Факты махинаций и вбросов документированы в той степени, которая достаточна для того, чтобы вызвать обоснованные подозрения в легитимности самих выборов, но недостаточна, чтобы охватить все возможные варианты объяснений статистических девиаций и массового конформизма.

Более адекватным, с моей точки зрения, был бы анализ сочетания разных мотивов и факторов, определяющих поведение массового избирателя. Можно, например, исходя из имеющихся материалов социологических опросов, выделить такой перечень оснований для «правильного» голосования:

а) выражение заинтересованной поддержки власти¹;

б) «галочки», механически или «бессмысленно» ставящие отметку в избирательном списке против фамилий людей, которые им неинтересны, о которых они ничего не знают и не хотят знать, то есть незаинтересованное, индифферентное, «ритуальное» голосование за тех, кто на слуху или кто отмечен властями как «серьезный человек», солидный кандидат; здесь важно лишь приобщение к некому коллективному действию, участие в событии, в котором проигрывается сама семантика коллективности, вне зависимости от того, что стоит за этой формой коллективности; у значительной части населения отсутствует осознание самого смысла выборов (принципиально важного мотива участия в демократическом процессе, принятия ответственности за сделанный выбор);

в) превращение процедуры голосования в обязательный для всех церемониал аккламации безальтернативной власти и решений местной администрации, шантаж и принуждение населения к демонстрации лояльности, «добровольное» и привычное для советских людей изъятие символической лояльности государственной власти;

г) поведение по принципу «меньшего зла» (отсутствие возможности выбора между кандидатами — по схеме «они все на одно лицо», хрен редьки не слаще);

д) протестное голосование (против конкретного кандидата или партии);

¹ В данном контексте не приходится разбирать то, каковы эти интересы или характер заинтересованности, формы или типы зависимости от власти, каковы расчеты голосующих за власть.

е) «выравнивающие» итоговые показатели вбросы и переписывание протоколов членами комиссий.

Можно сюда добавить еще какие-то мотивы или интересы, но это уже не принципиально.

Но, даже если принять эти оценки фальсификаций (в среднем, как полагают критики официальной электоральной статистики, 18–20% подлога) за истину, то все равно остаются три четверти или две трети избирателей, проголосовавших «не так, как следовало бы», с точки зрения демократов, то есть тех, чье поведение остается без внимания и объяснения, поскольку их мотивы как бы очевидны и не требуют специальной интерпретации (дескать, «они голосуют за действующий порядок», «за Путина»). Все дело именно в этой «как бы очевидности», не прошедшей необходимого концептуального анализа и понимания².

Поэтому для меня в данном случае важен не столько вопрос о фальсификациях и их масштабах, сколько сам *аргумент подлога*, играющий решающую роль *универсального объяснения* политического поведения (как власти, так и поданных), причем не только в ситуациях выборов, но и во всех других контекстах, связанных с отношениями господства. Легкость обращения к нему означает, что он лежит на поверхности массового сознания, что он всегда под рукой. Тем самым постулируется наличие общего конвенционального согласия относительно *всеобщности обмана*, который никого не обманывает, а именно это (безусловные, наследуемые и воспроизводимые от поколения к поколению правила социального поведения в обществе, правила игры) образует базовое представление о человеческой природе и о метафизике социального порядка.

Дело не в итогах голосования на этих выборах. Сам по себе негативный результат должен был бы указать сторонникам либерализации режима и возвращения к политике построения демократического и правового общества на существование более масштабной проблемы, которую они долгое время отказывались признавать (и продолжают отказываться): инерции

² Уже вопросы: почему? что стоит за этим? — открывают достаточно широкие проблемные зоны понимания и отсутствие удовлетворительного концептуального или теоретического объяснения. Никакого серьезного анализа (социологического, психологического, психоаналитического, культурологического или какого-то другого) фасцинации репрессивного режима или конвенционального принятия институционального насилия, массового оппортунизма в России после 1991 г. не было. И этим интеллектуальная ситуация здесь отличается от положения в других странах — двух Германий, Италии, в меньшей степени Венгрии, Румынии или Чехии, прошедших через тоталитаризм.

массивных структур тоталитарного сознания, жизни в условиях мобилизационного общества и опыта приспособления населения к репрессивному государству. Отказываются по вполне понятным причинам: признание этого означает, что мотивы политической деятельности лидеров внесистемной оппозиции не связаны с конечным результатом, что, либо эта деятельность носит самоценный характер (поддержание собственной, внутригрупповой — «квази-партийной» — идентичности, самоуважения вопреки всему), либо с непроявляемыми или скрывающимися интересами и гратификациями, которые компенсируют само участие в игре без надежды на победу. Другими словами, либералы представляют главным образом самих себя. Даже подспудное, редко проговариваемое подозрение в наличии подобных мотивов сильнейшим образом вредит образу оппозиции. Однако именно такого рода интересы участия в политической деятельности и выборах вытаскивает на свет кремлевская пропаганда с целью дискредитации демократов. Причем она не столько придумывает эти объяснения (политиканство оппозиционных лидеров, самореклама, упор на критике власти, а не на возможности практически что-то делать или хотя бы предложить какую-то «конструктивную программу» действий), сколько лишь артикулирует те рессантиментные мнения об оппозиции, которые уже сложились в самом населении, раздраженном своей ущербностью и хроническим чувством беспомощности, заложничества, зависимости от власти и проецирующем свои фрустрации на лидеров оппозиции. (Лучшей иллюстрацией этого может служить массовое отношение к Г. Явлинскому, выдвигающему себя в президенты.)

Без подобного «психоанализа» массового подсознания, выявления значимости этих как бы второстепенных или якобы самоочевидных обстоятельств (компонентов массовой идентичности, привычных конвенций и норм поведения, идущих из советского прошлого) смысл событий 2014–2015 гг., оказавшихся поворотными в новейшей истории страны, остается не просто закрытым для понимания, но и последовательно вытесняемым из сферы рациональных дискуссий¹.

¹ Прежде всего это относится к радикальному изменению отношения к политике Путина в среде, условно называемой «верхним слоем российского среднего класса», где антипутинские настроения после Крыма сменились на столь же выраженное ее одобрение. Можно рассуждать о компенсаторном эффекте демонстрации национального возрождения или восстановления Россией утраченного было статуса Великой державы, чрезвычайно важном для бенефициариев потреби-

Сведение всякого объяснения к подлогам и манипуляциям (из чего проистекает и распространенное недоверие к социологии, указывающей другие параметры фальсификаций и, следовательно, настаивающей на более дифференцированном подходе к массовому поведению, показывающей гораздо более высокий уровень одобрения власти — рейтинги популярности, влияния и т.п.) логически предполагает совершенно другую *базовую* посылку рассуждений в этой среде, ставшую основанием для критиков социологии уже безотносительно к выборам: «в действительности» у населения другие установки, мнения, интересы, но не могущие быть выраженными в настоящих условиях или искажаемые принятыми формами репрезентации реальности — социологическими опросами общественного мнения, официальными СМИ и т.п.

Подобная презумпция скрытой или непроявленной реальности, опирающаяся не на эмпирические аргументы, а лишь на собственное чувство уверенности и непосредственный опыт говорящих, представляет собой самообоснование авторитетной позиции, но в негативной форме. Основа этой «интуиции» (как и любой другой) — не размышления отдельных людей, а воспроизводство общего мнения окружающих, социальной среды говорящих. Никаких фактических аргументов эти отрицатели представить не в состоянии, хотя при необходимости в таких ситуациях используются косвенные примеры и доказательства. Но именно поэтому такого рода установки российской ангажированной публики² указывают на гораздо более глубокие структуры представлений, конституирующие сознание образованных людей. Можно видеть в этом инерцию претензий на авторитет и самосознание советской интеллигенции, наделяющей себя монопольным правом говорить о реальности, обращаясь к власти от имени народа, и к народу — от имени держателей специального знания, культуры и просвещения.

тельского бума, мысленно тем самым уравнивших себя с гражданами других «нормальных стран» («мы уже живем, как вы, так чего же вы нас так презираете»), или выдвинуть какие-то другие варианты объяснения, но пока удовлетворительной интерпретации наблюдаемых перемен в массовом сознании нет.

² В массе населения подобных сомнений нет и по причине полного равнодушия к средствам альтернативной в сравнении с официозом репрезентации реальности, и из-за отсутствия потребности участия в политике, интереса к ней, вообще — к деятельности гражданского общества, которая воспринимается как борьба за власть. От прежнего, перестроечного, интереса к политике осталась лишь некоторая озабоченность тем, будет ли власть выполнять свои социальные обещания, и если да, то в какой степени.

Другими словами, за этим стоит все тот же русский треугольник отношений «власть — интеллигенция — народ», характерный для недифференцированного социума (патримониальной бюрократии империи или тоталитаризма в его поздней советской стадии). То, в какой степени такого рода представления могут рассматриваться как «архаика» и традиционализм русской культуры образованных классов, а в какой являются адаптивным новообразованием интеллигенции в условиях рецидива тоталитаризма, здесь обсуждаться не будет. Для меня здесь важно лишь одно следствие: разговоры о фальсификациях на выборах оказываются не просто универсальным приемом для объяснения политических процессов в России, но и средством вытеснения альтернативных способов их понимания, в том числе и социологического, о чем речь пойдет ниже. Подобная «дереализация» действительности (как настоящего, так и прошлого) в конечном счете оказывается гораздо более важным явлением, чем все электоральные неудачи оппозиции.

«Действительность» массовой мобилизации или поддержки авторитарного лидера

Феномен массовой консолидации в 2014 г. населения с властью после присоединения Крыма к России, патриотическая эйфория, воинственное словесное антизападничество и резкий рост антиукраинских настроений стали полной неожиданностью для российских либералов и им сочувствующих. «Неожиданность» в данном случае означает не просто «внезапность» проявления непредвиденного или непредсказуемого и потому «случайного» фактора, а радикальное или катастрофическое изменение или даже распад картины реальности. Рассыпание смысловых (интерпретационных) рамок реальности произошло под действием сил, природа и характер которых либеральной публике остаются совершенно непонятными, неизвестными, поскольку это никогда не принималось во внимание и не формулировалось как проблема.

Несовпадение представлений, преобладавших у прозападно ориентированных демократов или либералов до аннексии Крыма, о том, как должны были бы развиваться события в ходе и после массовых протестов 2010–2012 гг., с тем, что последовало за ними в действительности, не стало в этой среде поводом к более глубокому анализу социальных процессов или к пересмотру своих взглядов. Не стало по двум причинам: первая — не было интеллектуальных

средств для *понимания* этих явлений, то есть для анализа сложности оснований и связей, определяющих подобное поведение населения; вторая — упорное *нежелание* понимать, поскольку такое понимание предполагало или даже требовало релятивизации собственных взглядов и идеологических позиций. Вторая причина для нашей темы более значима, поскольку она коренится в особенностях наследуемой после краха советской системы культуры, что предопределяет большую длительность последствий.

Ожидалось, что правящий режим, столкнувшийся с бесспорными свидетельствами фальсификаций на выборах, неэффективностью государственного управления, фактами тотальной коррупции, казнокрадства и произвола на всех уровнях власти и во всех сферах государственного правления без исключения — от прокуратуры, следственного комитета, полиции, армии до ведомств здравоохранения или космической промышленности, диссертационного плагиата чиновников, сращения правоохранительных органов с организованной преступностью — и многим прочим, должен будет а) утратить свою легитимность и, следовательно, б) ослабить и общественную поддержку.

Экспектации такого рода лежат в основе популистской программы А. Навального, поддержанного в 2011–2013 гг. значительной частью городского населения (до 40–45%). Более того, как показывают материалы опросов общественного мнения, абсолютное большинство населения России считало и считает, что приводимые прессой или в интернете факты казнокрадства, колоссальных хищений лицами из высшего руководства страны, явных нарушений Конституции, подлогов квалификационных документов, угроз или насилия по отношению к критикам и оппонентам, прямой лжи в публичном пространстве и пр. суть принципиальные характеристики нынешней российской политической системы¹. Но ответов на вопрос, как может быть при этом «очищена от негодяев» сама сфера государственного управ-

¹ Скандалы, связанные с обнаружением огромных сумм у сотрудников СК, губернаторов и других лиц из высшего руководства, аресты высокопоставленных чиновников и т.п. воспринимаются именно как «проявления всеобщего разложения и коррумпированности власти» (например, так думали 64% опрошенных в ноябре 2016 г.), мнение о том, что это «единичные случаи, нетипичные явления для высшего руководства страны», разделяют лишь 27%. Это становится понятным, если учесть, что в год поступают примерно 750–800 сообщений о подобных событиях, тиражируемых всеми информационными каналами в стране. Это образует хронический негативный фон для восприятия внутренних событий в стране — растущего социального неравенства, инфляции, сокращения доходов населения и т.п.

ления или заменено само руководство страны и при этом обязательно *мирным и законным* образом, у людей нет, более того, сама возможность их поиска представляется весьма туманной. Для значительной части населения любые изменения в структуре государственной власти представляются нежелательными по ряду причин (из-за опасения перемен, государственно-патерналистских иллюзий, представлений, что лучше уж насытившиеся паразиты, чем новые и голодные, но также позитивной идентификацией именно с такой властью, какая она есть, и т.п.)¹.

По логике вещей ответы на вопрос об «очищении» должны были бы вытекать из первых посылок («как это было бы при демократическом устройстве государства»), но ответов не было. Воображение на этом месте тут же останавливалось.

Характерная радикальность констатации положения дел («полное разложение государства») сочетается с полным отсутствием мнений о том, что должно следовать за признаниями такого рода. Такой диссонанс лишь на первый взгляд кажется противоречием, недопустимым с позиций «здравого смысла»². И не он блокирует возможность рефлексии и дальнейшей умственной работы. Паралич наступает из-за осознания того, что дело здесь не сводится к простой замене «отдельных», «негодных», функционеров другими «порядочными», а в самой безальтернативности действующей системы российского государства, поскольку и «новые и честные» должны быть взятыми из состава того же кадрового запаса, подготовленного властями (номенклатуры администрации президента)³. С одной стороны, общественное мнение отдает отчет себе в том, что проблема в вертикальной

системе государственной власти, подбирающей людей специфического толка, лояльности и квалификации в соответствии с интересами самосохранения власти, а значит — устранения внешнего контроля над собой. В идеале, как полагают люди, желательна была бы другая система («демократия»), которая должна быть ориентирована на задачи обеспечения общественного благосостояния или развития общества, а не защиты интересов силовиков и олигархических финансово-промышленных группировок, близких к президенту, или бюрократии, и характеризовалась бы другой степенью ответственности власти перед населением (смены начальников, периодически проводимой в ходе выборов). Именно с этими установками люди выходили на митинги и демонстрации протеста. Но из этих смутных ожиданий и претензий, частично артикулированных в ходе массовых демонстраций протеста, не осуществилось ничего. Власти самым наглым образом (по другому и не скажешь) пренебрегают обвинениями в свой адрес, не затрудняя себя даже отрицанием приводимых фактов и аргументов, как это показывают совсем недавние дела об освобождении Е. Васильевой или материалы ФБК о сомнительном происхождении собственности у семейства министра обороны С. Шойгу, связи семьи генпрокурора Ю. Чайки с организованной преступностью, диссертационного плагиата спикера парламента С. Нарышкина или зам. председателя Верховного суда О. Свириденко и десятков других функционеров. Аресты высокопоставленных чиновников разного уровня идут еженедельно, но их обсуждение (прежде всего выявление причин, природы внезапного обогащения и избирательного привлечения к ответственности) в публичной сфере оказывается крайне ограниченным или невозможным, наказуемым (как показывает пример Левада-Центра, включенного в реестр «иностранных агентов»). Цензура цензурой, но сами эти факты, разумеется, откладываются в массовом сознании, хотя и не становятся предметом систематической проработки. Речь не о размере хищений или рутине присвоений чужой интеллектуальной собственности, а в стойких, хотя и не очень определенных, генерализованных подозрениях, широко распространенных в обществе, относительно систематического характера нарушения законов РФ и общепринятой морали всеми, кто имеет власть любого рода, начиная с высших лиц в государстве и кончая низовым уровнем администрации или полицейского.

¹ На вопрос, надо ли отправить в отставку правительство сейчас (после скандала с Улюкаевым), только 33% согласились с подобным предложением, 51% были против и 15% затруднились с ответом.

² Немного больше социального воображения и аналитических способностей у ангажированной публики позволили бы ей понять, что разные члены этого «противоречия» играют разную функциональную роль в поддержании принудительного консенсуса в массовом сознании: один комплекс представлений предназначен для самоидентификации этой группы (не связанной с реальными обстоятельствами существования), другой — для практического поведения в повседневной действительности деспотического государства.

³ Решение подобных проблем российское население в массе своей видит лишь в ужесточении наказаний коррупционеров и чиновников, злоупотребляющих своим положением. Насилие и жестокость здесь лишь воспроизводят репрессивный характер самого государства по отношению к населению. Это не изменение структуры институтов и организации неразделенной власти, а лишь мифологизированное представление о природе власти — переворачивание вектора насилия (надежда на справедливого царя или спасителя).

Например, показательны здесь данные ноябрьского опроса Левада-Центра (N=1600): следят внимательно за громким делом А. Улюкаева¹ лишь 30% опрошенных (что явно мало, поскольку само событие некоторое время было в топ-новостях и освещалось всеми федеральными каналами ТВ, интернетом, прессой; среди них преобладали пожилые люди, более образованные, но провинциалы — максимум приходится на малые города; в Москве эти показатели ниже среднего; среди молодежи следят за этим делом всего 10%); еще 48% «что-то слышали», а 22% ничего не знали об этом. Доминанта массовых установок — именно эти 48%, относительное большинство населения, индифферентная масса аполитичных, дистанцирующихся от политики людей, являющихся базой или несущей конструкцией путинского режима. На вопрос, бросает ли арест министра, выступающего в образе руководителя экономического блока прежних либералов и реформаторов, занимающих важнейшее место в правительстве, тень лично на президента, определяющего политику в стране и состав высшей лиги, и на премьер-министра, ответы были: на Путина — «да» 38% (51% — нет), на Медведева — «да» 47%, «нет» — 40%. Но то, как осмысливается это событие, какие смыслы приписываются ему, показывает полную размытость и неопределенность массовых мнений: 36% опрошенных по инерции видят в этом начало «серьезной борьбы с коррупцией» (а это то впечатление, которое хотело бы создавать о себе высшее руководство страны), «наступление силовиков на экономический блок в правительстве» — 21%, «борьба за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками» — 30%, и 13% затрудняются ответить. Другими словами, ни одна из версий не является сколько-нибудь авторитетной. А это значит, что в том поле коллективных представлений нет сколько-нибудь авторитетных инстанций, могущих конфигурировать массовое восприятие, ни одна группа или даже институт, включая и государственные СМИ, не пользуется преимущественным доверием населения по отношению к этим проблемам.

Во всех указанных выше случаях действующий режим ясно давал понять общественности, что он будет отвечать на подобные обвинения и возмущенные протесты политикой массированных угроз, репрессивными законами,

¹ Я не берусь судить о его виновности или невиновности, речь в данном случае идет только об общественном резонансе, вызванном арестом министра, чего до сих пор еще не было в постсоветской практике.

дискредитацией отдельных участников протестного движения, подавлением независимых СМИ и НКО². Достаточно объявить эти обвинения «заказными», направленными на подрыв «конституционного строя», государственности, чтобы, по крайней мере, формально нейтрализовать их апеллятивно-моральный потенциал и поставить их в один ряд с враждебными действиями «пятой колонны» и «иностранных агентов»³.

Приписываемые им таким образом целевая направленность (инструментализм) и меркантилизм позволяют снимать их ценностную значимость, что дает повод «обществу», «публике» освободиться от обязательств реагировать на вопиющий характер приводимых фактов. Вместо ценностно-рациональной позиции (веры в некие блага, идеалы, ценности альтруизма и «общественного блага») утверждается универсализм всеобщего нигилизма, исходящий из самого примитивного представления о голом в культурном отношении человеке — остаточном представлении человека распределительного,

² Примерно так высказался руководитель СК А. Бастрыкин, недобровольный публикациями журналиста «Новой газеты», увезя его в лес и объясняя ему, кто он и что его ждет: «Тебя убьют [я убью], а я буду расследовать это дело». И не нужно долго убеждать людей, что подобные угрозы не пустые слова: убиты С. Магнитский, А. Политковская, Б. Немцов, осуждены А. Навальный и его брат, посаженный за него, идут показательные процессы по «Болотному делу», осуждены краснодарские экологи, пытавшиеся обратить внимание общественности на злоупотребления губернатора А. Ткачева, и т.д., не говоря уже о «профилактической» работе Минюста или Роскомнадзора, ФСБ в отношении организаций «иностранных агентов» или вообще «нежелательных организаций». Этот ряд примеров может долго продолжаться, так как речь идет о систематическом подавлении любых протестных голосов против режима.

³ Отсюда участвовавшие заявления депутатов ГД о том, что критика коррупции — это способ разрушения российского государства, одна из тактик «цветных революций» по дестабилизации социального положения в России. «Борьба российских властей с «пятой колонной» Запада, с «иностранными агентами» полностью оправдана, считают 40% опрошенных россиян (ноябрь 2016), 35% затруднились ответить на соответствующий вопрос, и лишь 25% видят в этом стремление власти «защитить себя от критики со стороны общества», полагая, что «в стране нет никакой пятой колонны». Лидеры оппозиционных партий и координационных комитетов протестного движения не смогли добиться согласия в стратегии и тактике дальнейших действий и утонули в склоках и выяснении отношений между собой, утратив доверие и поддержку значительной части недовольных положением вещей в России. Власть воспользовалась этими разногласиями (отчасти ею же спровоцированными) для дискредитации оппозиции, заявляя, что это не политики, озабоченные нуждами и проблемами простых людей, а всего лишь — политики, демагоги, рвущиеся к власти, использующие обычных людей как средство для достижения своих целей (скрытый смысл этой риторики заключался в том, что «они — такие же, как мы», а потому — какой резон менять одних демагогов и жуликов, нас на других). Проекция массовых представлений о власти на оппозицию придает этим заявлениям убедительность.

дефицитарного режима, населения советского барака, завистливого, хронически обделенного и недоверчивого, ждущего любых неприятностей от окружающих — от кражи и бытового насилия до доносов и ареста. И, что в данном плане самое важное, это представление устанавливает консенсусное согласие относительно «подлинного» или «настоящего» видения человека. Здесь сходятся абсолютно все группы российского социума, от кремлевских до антипутинцев. Нигилистическое представление о человеке, в свою очередь, оказывается условием идеологии пластичности сознания, тотального манипулирования людьми (общественным мнением) и всемогущества пропаганды, поскольку при этом одновременно отрицается социальная сущность человека — «структуры общества», интернализированные индивидом в процессах социализации и повседневного взаимодействия. Это представление о «пустом человеке» (включая механизмы социального недоверия или цинизма, разрушающего позитивные значения доверия, веры, уверенности в Другом или Других) оказывается базой антропологии постсоветского общества.

Такого рода механизмы девальвации императивов гражданской солидарности определяют коллективное «подсознание» и образуют модус общественного равнодушия и неподвижности (псевдопатии или «пассивности») населения. Общественное мнение сегодня погружается в протрацию перед вопросом: где, откуда взять эти формы общественного контроля над правительством и бюрократией, предупреждающие возможность злоупотреблений? Революционное насилие как способ установления социальной справедливости и изменения системы господства решительно отвергается всеми группами населения¹, причем не только из рационального сознания его последствий, но и из-за страха «голого человека» перед иррациональностью действительности, неверием никому, включая и себе. «Голый человек» — это не просто человек вне ценностей (культуры), но и без функциональных связей с другими людьми в их разнообразии и самодостаточности. Поэтому «голый человек» мыслит в тотальных категориях (народ, тысячелетняя Россия, единая страна, апеллятивное коллективное «мы», а не коммуникативное «я» или такое же «мы»), оперируя неподвижными, неисторическими «целостностями», которые только и могут придать

¹ Что самым беззастенчивым образом эксплуатируется режимом, навязывающим обществу угрозу «цветных революций», инспирированных Западом.

ему некоторое значение. В этом его отличие от человека современного общества, для которого реальность представлена в виде наличных структур взаимодействий с другими — ролями, группами, институтами.

Сама по себе эта неопределенность, невозможность ответа на вопрос об изменениях (образах будущего) не может рассматриваться как естественная или природная характеристика постсоветского человека, как элемент культурной метафизики. Правильнее было бы видеть в этом процессуальный признак: симптом эрозии или, точнее, конец большой идеологической платформы — веры в демократический транзит или общего убеждения, что начатые при Горбачеве изменения так или иначе приведут страну к состоянию «нормальности», под которым понимается прежде всего некое подобие жизни «как на Западе». Именно данное обстоятельство объясняет то, что большая часть из россиян, симпатизировавших протестному движению и разделявших их лозунги и оценки ситуации, оказались к концу 2013 г. деморализованными и дезориентированными. Они утратили перспективу (представления о будущем страны) и не знают, что делать дальше. Фрустрации такого рода после присоединения Крыма к России дали компенсаторный эффект: возможность выплеснуть свое унижение (в превращенной форме антизападного ressentiment) наполнила россиян гордостью за страну и самоуважением². Работает здесь более общий, важнейший механизм «негативной идентичности», в том числе зависимость от идеального Запада. Снижение притягательности и значимости «утопии современности» оборачивается повышением самооценки. Причем здесь важно принять во внимание «тотальность» или целостность взаимосвязанных проекций — воображаемого Запада и самих «нас», которые вытесняют или не допускают альтернативного сознания сложности социальной системы: многообразия социальных групп, функционально связанных между собой, а значит — идеи социального взаимодействия, множественности субъектов действия, понимания возникающей при этом ответственности актора (индивидуального или группового, институционального), рациональной оценки имеющихся в его распоряжении ресурсов и т.п.

² Реакции такого рода имеют много общего с инфантилизмом и подростковой девиантностью, например с демонстративным вандализмом уличного поведения. Это — не просто самоудовлетворение от нарушения принятых норм, праздник непослушания, это символическое утверждение себя, своего присутствия в глазах сверхзначимого Другого — воображаемого «Запада», США и т.п.

Сам по себе феномен патриотической эйфории 2014 г. свидетельствовал о выходе на поверхность советских (и даже досоветских имперских) стереотипов — символов «Великой державы» (или морака «Великой России»). Однако актуализация подобных установок означала радикальную массовизацию или гомогенизацию социальной структуры российского общества, обнажение ее примитивности или уплощенности¹. Одно только это обстоятельство уже должно было бы означать полную ничтожность упований на формирующийся «средний класс» как социальную основу модернизации и европеизации страны. Но подобную одномерность следует рассматривать так же, и как симптоматику идеологической стерильности общества: она говорит о том, что никакой содержательной основы (идей, групповых ценностей, интересов, мотивирующих их поведение) для выделения слоя, страта, который можно было бы признать самодостаточным, мы здесь не обнаруживаем. Говорить о воспроизводящейся самоидентичности социальных групп, относимых в соответствии с социологической теорией к «среднему классу», нет оснований: нет признаков автономности и устойчивой самоорганизации, групповой солидарности, готовности к репрезентации и отстаиванию своих групповых интересов и т.п., всего того, что характеризует интенсивные процессы социальной морфологии и развития модернизирующихся стран.

Абсолютное большинство населения примкнуло к антиукраинской и антизападной кампании действующего режима по мотивам, которые нельзя однозначно охарактеризовать: здесь соединяются *прагматический оппортунизм* («необходимость» приспособляться к наличному социальному порядку, включая пассивную готовность «терпеть», то есть принимать навязанные режимом правила поведения, демонстративной лояльности и самоцензуры) с *компенсаторным национализмом* и реанимацией *имперского превосходства* над другими.

Эту внутреннюю коллизию можно выразить иначе: *идеологические интересы* социальных групп или слоев², ориентированных на

развитие страны, то есть на западные модели, руководствующихся идеями демократического транзита, а значит — видящих, осмысляющих происходящее в парадигме перестроенной трансформации социалистического общества, вступили в противоречие с «реальностью», то есть с «*практическими*» или *материальными интересами* адаптации к сложившемуся и действующему социальному порядку формирующейся деспотии, «мафиозного государства», «плутократического» или «персоналистического» режима, определяющего рамки повседневного существования³. За нормативностью «*фактического*» положения вещей скрывается признание силы и интересов правящего режима, одержимого заботой самосохранения, удержания власти в своих руках, а значит — подавления критиков и оппонентов, с одной стороны, и коллективного оппортунизма общества или населения, с другой. Этот момент важно подчеркнуть: речь идет не о разных мнениях и взглядах разных людей, а о разных мнениях или взглядах одних и тех же людей.

Недоверие к социологии

В этом неявном столкновении взгляды либералов, не подкрепленные практическими интересами, готовностью к их отстаиванию и реализации, следует рассматривать как иллюзии самодовольной «интеллигенции» (вне зависимости от того, кем в социально-профессиональном плане оказывались причисляемые к ней субъекты — экспертами, предпринимателями, журналистами, менеджерами и т.п.). Самодовольство либералов проистекает из ложного чувства своей особости, рожденного средним звеном бюрократии еще в советское время из претензий на автономию и более высокий статус (благодаря образованию и ценностям «убеждений»). Но реакция «продвинутого» слоя на шокирующую действительность 2012–2014 гг. была разочаровывающе «массовидной», повторяющей привычные формы поведения населения в целом: редукция сложности, сведение сложных по своей сути явлений

¹ Нельзя привести более сильные аргументы в защиту обоснованных сомнений в наличии среднего класса в России критики официальной идеологии времен президентства Медведева. Этот «средний класс», который российские социологи и экономисты вместе с кремлевской пропагандой объявили основой стабильности действующего режима, оказался начисто лишенным чувства собственного достоинства или способности к рождению идей и ценностей, которые могли бы свидетельствовать об автономности или самодостаточности этой группы.

² Правильнее было бы сказать «социального множества», учитывая аморфность и социальную рыхлость этих групп.

³ В научной среде отсутствует согласованное или общепринятое понятие путинского режима. Ни одно из циркулирующих в литературе понятий посткоммунистических режимов (такие определения, как авторитарный, гибридный, персоналистический, плутократический и др.) не является сколько-нибудь удовлетворяющим для описания возникших после краха коммунизма систем господства. Такое положение само по себе оказывается теоретической проблемой, для решения которой пока не предложено сколько-нибудь пригодных средств. О сложности концептуализации подобных режимов более подробно см.: *Мадьяр Б.* Анатомия посткоммунистического мафиозного государства. На примере Венгрии. М.: НЛЮ, 2016. С. 6–20.

и процессов к простейшим формам объяснения для защиты своих взглядов, самоизоляция, вытеснение («дереализация») всего, что «неприятно» и подрывает коллективную идентичность¹.

Недоверие к социологии («не верю я в эти 86%») стало такой же формулой, как и «крым-наш». Нельзя сказать, что для недоверия нет оснований: деятельность основных прокремлевских служб опросов общественного мнения и ряда других организаций, сотрудничающих с государственными ведомствами, подчинена задачам пропаганды и оптимизации политических технологий, разрабатываемых управлением внутренней политики администрации президента, или интересам региональных властей. Проблемы, волнующие и значимые для общества, здесь, если и затрагиваются, то лишь косвенным образом, а потому получают искаженное отражение. Это вполне очевидно, и публика не требует особых доказательств их объективности или неангажированности. На это указывает с достаточной ясностью как выбор тематики массовых опросов, так и формулировки диагностических вопросов, не говоря уже о выступлениях руководителей этих служб. Можно ли пользоваться их данными и доверять качеству получаемой ими информации? На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Как бы я ни относился к работе этих служб, должен сказать, что в целом их результаты показывают достаточно устойчивые тренды и значимые колебания в массовых настроениях, которые при вполне оправданном критическом отношении к этим обслуживающим власть организациям могут приниматься в рассмотрение заинтересованными аналитиками (если только последние в состоянии интерпретировать подобные материалы). Умение отделять ценностную или идеологическую ангажированность полстера от содержательности полученного материала, то есть критически оценивать *способы получения* эмпирических данных, выявляя предметное содержание результатов опросов, это *социальная способность*, обусловленная развитостью публичной сферы, навыков ведения дискуссии и анализа. Проблема, на мой взгляд, заключается именно в этом: в ограниченности ресурсов социальной рефлексии и возможностей ин-

терпретации анализа процессов в российском обществе. Отдельный индивид (не социолог, не специалист, не профессионал), разумеется, не в состоянии проделывать такие процедуры проверки. Удостоверять качество полученной работы может только само профессиональное сообщество (рамки которого выходят за границы национального государства — в противном случае мы получаем очередную лысенковщину), а достоверность работы самого профессионального сообщества зависит уже от его авторитета в образованной среде — академических кругах от околонушной публики, репутация которых складывается на протяжении длительного времени. В нашем случае, российская социологическая общественность молчит и не вмешивается в эти словопрения по разным причинам — из-за оппортунизма, своей государственной принадлежности (и в силу этого неизвестности и неавторитетности для широкой публики).

Последний скандал с мстительным увольнением с государственной службы свежее испеченных академиков яснее ясного говорит о ничтожности авторитета Академии наук и отсутствии у нее хоть какой-то автономии. Нельзя сказать, что она этого не заслужила. Так или иначе, мы выходим на проблему функции социального знания в обществах разного типа, социальных предпосылках производства знания и структуре общества как априорного условия его значимости. Другими словами, это проблема социальной эпистемологии и общественного контекста отношения к знанию и социальных характеристик его востребованности.

«Недоверие» оказывается условием поддержания социально-групповой идентичности в ситуациях, когда других интеллектуальных средств понимания происходящего нет или они явно недостаточны. Иначе говоря, это не только специфическая форма утраты доверия к средствам познания и интерпретации (конструирования) действительности или проявление характерного для посттоталитарной массы опыта нейтрализации идеологических акций и кампаний власти, но и доминантный для тоталитарных и посттоталитарных обществ механизм негативной идентификации, принципиально важный для понимания их антропологии и культуры².

¹ То, что доступно читателям немецкой газеты, недоступно пониманию наших «профессионалов»: «Чем маргинальнее в политическом плане та или иная позиция, тем с большей аллергией она относится к фактам» (Alard von Klitzsch: «Wo es keine gemeinsame Faktenlage gibt, wird nur noch über Wirklichkeitsbilder gestritten. Nicht mehr über Handlungsoptionen. Die Lüge lähmt die Politik // Die Zeit, 25.08.2016. S. 48 (заголовок статьи — «Где нет общего основания фактов, там все еще спорят об образах действительности. Но не о вариантах действия. Ложь парализует политику»)).

² Интересно, что позиция либеральных политиков в данном отношении полностью совпадает с самыми массовыми установками к СМИ и другим источникам информации. Так, заявление В. Милова на семинаре («Русский национализм и его политическое измерение» 21.01.2016) в «Мемориале» дословно совпадает с высказыванием респондентки о СМИ на фокус-группе, проводимой в Левада-Центре: «Я доверяю только тем данным, которые совпадают с моим мнением».

Проблема «утраты доверия» части либеральной общественности к социологии как инструменту описания, понимания и интерпретации социальной действительности интересна и в общем смысле, как предмет изучения (как характеристика ущербной, неразвитой или неполноценной социальности). Но она очень важна и для нас самих, для сотрудников Левада-Центра, поскольку здесь затрагиваются отношения с имплицитным адресатом производимого нами социального знания, с «генерализованным Другим», а значит — с теми, от кого исходит социальное признание смысла и ценности научных разработок. Разумеется, процесс познания имеет смысл и чистое вознаграждение в себе самом, но это далеко не всегда (и не для всех) может быть главной составляющей мотивации исследовательской деятельности. Практическая роль знания (включая престиж, социальный статус ученого, осознание важности просвещения, а также обеспечение потребительского спроса на социальную информацию) является условием институционализации социальной науки и устойчивости ее функционирования в среде конкретного общества.

До 2009 г. (до выборов в том году) серьезных проблем в отношении к качеству производимого социологами знания в нашей практике не возникало. Редкие эксцессы недовольства отдельных категорий политически ангажированной публики: коммунистов, жириновцев или яблочников, были вызваны раздражением фактами снижения поддержки их партии у избирателей. Но начиная с 2011 г. принципиальное недоверие к данным социологов стало широко распространенным мнением среди демократов, особенно после выборов 2012 и 2014 гг.¹ До этого «социология» была важнейшим средством подтверждения мнений среди прозападной публики. Но здесь важно подчеркнуть один момент: под социологией эта публика (как и те, кто занят укреплением и защитой путинского режима) понимала и понимает исключительно лишь форму опросов общественного мнения относительно политических или, еще точнее, электоральных установок населения, средство их диагностики и описания («...у нас была со-

циология», «...и мы перед выборами заказали социологию»). Подозрения или отрицание результатов касается только этих тематических зон; материалы таких же точно по методам получения информации исследований — экономического поведения, религиозных установок, литературной культуры, исторической памяти, стратификации, ксенофобии, отношений между врачами и пациентами, учителями и родителями школьников и т.п. — никогда и никем не ставились под сомнение, какой-либо идеологической или методической критики в этом отношении не появлялось. Но и какого-либо интереса публики они точно так же не вызывали (что по-своему примечательно и может служить средством диагностики образованного или культурного «общества»). Иначе говоря, причиной раздражения и неприятия ангажированной части публики (как либеральной, так и прокремлевской) стали данные, показывающие уровень массовой поддержки Путина или «Единой России», равно как и наше стремление раскрыть неоднозначность или природу этого отношения к власти.

Пик обвинений социологов пришелся именно на 2014 г., когда после присоединения Крыма рейтинг Путина, медленно падавший с 2009-го до января этого года, взлетел до 87% и более.

Приведу рассуждение Д. Травина, руководителя Центра исследований модернизации ЕУСПб, уважаемого мной политэкономом, выступающего, как ему кажется, с позиции «здорового смысла», но воспроизводящего самые частые стереотипы российского дилетанта. Оно совсем недавно попало мне на глаза и в контексте настоящего разбора заслуживает гораздо большего интереса, чем высказывания Г. Сатарева или Г. Юдина, мнящих себя «профессиональными социологами». (Курсив везде мой. — Л.Г.). Травин делит все массовые опросы на три категории. «Во-первых, когда людей спрашивают о том, о чем они думают каждый день. Во-вторых, когда мнением респондентов интересуются по проблеме, о которой они обычно не думают, но которая требует их однозначного решения. И, наконец, в-третьих, когда задается вопрос о том, в чем народ плохо разбирается и что никаких конкретных решений от него не требует. <...> Получить представление о реальных предпочтениях общества довольно сложно, поскольку Путин или Навальный в массовом сознании сильно мифологизируются и наделяются свойствами, которых реально не имеют. Один образ героя формируется в массовом сознании,

¹ И одновременно начался очередной момент прессинга на «Леваду»: в 2013 г. прошло несколько комплексных проверок деятельности центра, задачей которых был поиск доказательств заказного характера исследований, взаимосвязи зарубежного финансирования и манипулирования результатами опросов с политическими целями. Проверку осуществляли сотрудники прокуратуры, Минюста, МВД (отдел по борьбе с экстремизмом), налоговой службы. Нельзя не подчеркнуть для нашего анализа синхронность этих явлений — кризис доверия либералов и попытки государства уничтожить организацию.

когда СМИ его постоянно хвалят, но совсем другой — когда они рассказывают о его корысти, коррумпированности и человеческой непорядочности. Изменится картина в медиапространстве — и за пару месяцев кардинальным образом могут измениться оценки населения»¹. Травин полагает, что «респонденту ведь не приходится реально выбирать курс и нести ответственность за свой выбор собственным кошельком. Поэтому он скажет о своих предпочтениях в самой общей форме. И запросто изменит ответ, как только получит иную постановку вопроса или новую информацию для ответа. Так что нынешняя поддержка населением путинского курса *свидетельствует скорее о качестве машины для промывания мозгов, а не о самих мозгах российских граждан*. Все привычные нам представления о сознании отечественного обывателя могут быстро перемениться в иных условиях. Путин сразу перестанет быть популярен, если его начнут не хвалить, а разоблачать с помощью телевидения» (неясно только, когда и почему Путина вдруг перестанут хвалить и начнут разоблачать, и еще больше — кто собственно? Отметим также характерную вневременность и безличность, или точнее — бессубъектность кондичиональной модальности рассуждения: «как только, если...». — *Прим. Л.Г.*)². Эта социология говорит не о реальной жизни общества, а скорее о стремлении к идеалу. Реальный же настрой человека трудно «засечь» массовым опросом». «Если какой-нибудь профессор социологии посадит пару въедливых аспирантов покопаться в деталях реальной жизни российских граждан, мы получим о ней больше информации, чем от массовых опросов, при которых люди говорят не о своем повседневном существовании, а о ментальных конструкциях, создаваемых из страхов, желаний и фобий с поправкой на систему промывания мозгов». Итак, общий вывод: «В практической жизни все устроено совсем не так, как в головах» или «В действительности мы сильно искажаем наши представления об обществе в угоду моде на массовые опросы»³. «Итог их исследований скорее искажает реальную картину жизни, чем помогает понять нам существующее в обществе положение дел»⁴. Суммирую травинские аргументы: «в действительности все иначе, чем на самом деле». Такова точка зрения носителя

сознания «наивного реализма», не ведающего о каких-то там проблемах методологии знания, процедурах верификации или фальсификации фактических утверждений, даже не подозревающего о давних дискуссиях этого рода или логике смены научных парадигм, индукционизме, конвенционализме и т.п.⁵ — Неведение такого рода означает, что социальные науки в России не стали автономной институциональной сферой, конституированной методологической самокритикой — «институционализированными процедурами сомнения», а по-прежнему являются кустарной индустрией, мануфактурами прагматически затребованных сведений.

Первая версия (она сегодня наиболее распространена) — социологи после смерти Ю. Левады «продались»: Левада-Центр «растлевал Золушку» (=демократических избирателей), заявлял в 2013 г. Г. Сатаров, сознательно задает не те вопросы, которые отражают реальные мнения людей. Опросная социология легитимирует путинский режим (Г. Юдин, «оппозиционные» журналисты и т.п.)⁶.

Вторая, несколько более сдержанная: у них неправильная выборка, ошибки в методике и организации проведения опросов, неправильно формулируются вопросы. Надо задавать такие вопросы, которые давали бы «нужный» или «правильный» ответ. Это стереотипная реакция недовольных полученными данными, причем она характерна как для кремлевских, так и для либеральных демагогов (того же Сатарова). В какой-то своей части эта позиция

⁵ Об этом см.: От рациональности сущего к субъективной рациональности. В книге: Гудков Л. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М., 1994. С. 277–350.

⁶ Примечательно, что такой же тип сознания и логика обоснования характерны и для представителей властных институтов: подобные сатаровским аргументы содержатся в докладе на Левада-Центр руководителя «Антимайдана», тогдашнего сенатора, а сейчас депутата ГД Д. Саблина, в «Акте проверки» деятельности Левада-Центра Минюстом, перешедшие полностью в текст постановлений судов, признавших Левада-Центр «организацией, выполняющей функции иностранного агента». Сочетание «получения денег от иностранных организаций» за выполненные исследовательские работы и «публикация результатов социологических опросов», содержащих неслесные для власти или депутатского корпуса мнения людей, заведомо толкуются как политическая деятельность, осуществляемая в интересах других стран и имеющая целью подрыв основ конституционного строя России. Это ничем не отличается от утверждений о купленных прокремлевских социологах. В обоих случаях — и в отношении демократов к социологическим опросам, и в демагогии представителей правоохранительных органов (Минюста, прокуратуры), — проступает одна мыслительная стратегия: опросы общественного мнения — это заведомое манипулирование другими, чисто инструментальное воздействие на других; это не условие прояснения структур взаимодействия в обществе, не само «общество» как таковое, а использование другого/других как ресурс собственного действия, реализации своих утилитарных интересов.

¹ Травин Д. Просуществовать ли путинская система до 2042 года? СПб.: Норма, 2016. С. 308.

² Там же. С. 309.

³ Там же. С. 311–312.

⁴ Там же. С. 307.

дополняется методической критикой массовых репрезентативных опросов, основывающейся на «нерелевантности» вопросов социологов для населения, озабоченного совсем другими проблемами, нежели те, что представлены в анкетах социологов (В. Воронков, Д. Рогозин). Данную позицию уже довольно давно представляют российские эпигоны западной гуманистической социологии читатели П. Бурдые, повторяющие их аргументы о неадекватности «количественной социологии», базирующейся на концепциях символического интеракционизма или структурного функционализма, действительности «жизненного мира» людей, культуре «повседневности» и т.п. Критика идеологии господства, лежащей в основе больших теорий академической социологии, в нашем случае воспроизводится в виде отрицания значимости массовых репрезентативных социологических опросов. Это довольно архаическая в эпистемологическом смысле позиция, требующая от социологии адекватного «отражения» полноты реальности. Она характерна в первую очередь для нового поколения претенциозных российских социологов, плохо образованных и не имеющих собственного ресурса — как концептуального, так и «человеческого» или материального — для серьезной исследовательской работы и лишь повторяющего некоторые зады этнометодологической критики в западной социологии 1970–1980-х гг. или остатки марксистской парадигмы¹.

Третья — социологические опросы в условиях авторитарного режима бессмысленны, потому что люди врут, неискренни в своих ответах, «боятся отвечать». Такая позиция стала встречаться все чаще в последнее время (политологи или скорее публицисты, западные наблюдатели). Она не более обоснована, чем другие версии неадекватности или вредности социологических опросов, но для критиков кажется более правдоподобной и убедительной².

¹ Гудков Л. Проблема повседневности и поиски альтернативной теории социологии. В кн.: ФРГ глазами западногерманской социологии. М., 1989. С. 296–329.

² «Когда рейтинг в 85% и более превратился в обыденность, немало близких нам людей стали объявлять, что они этого не приемлют. Часть обвиняли Левада-Центр в методических ошибках, часть — в том, что он продался, часть заявляли, что этот рейтинг — бессмыслица и его надо перестать измерять, часть — что его, по крайней мере, не надо публиковать. В Левада-Центре с пониманием относятся к таким реакциям. В них много горечи и боли, но они же — знак нежелания отказываться от ценностей и идеалов, с которыми эти люди выходили на многотысячные митинги в давнем и недавнем прошлом... Есть своя слабость в том, чтобы отказываться принимать эти реалии (знаем, нашу слабость видят в том, что мы их принимаем). Есть свое мужество в том, чтобы принять эти социальные импульсы за данность и не отво-

Наиболее яростная, обличительная демагогия такого рода исходит от «проигравших» в политических кампаниях прежних лет — бывших высокопоставленных чиновников или «аналитиков» при ельцинской администрации (прежней политической obsługi власти), вынужденных быть в оппозиции к действующему режиму и таким образом переквалифицировавшихся в демократов. Но они не авторы этих мнений, а лишь пользователи; они заимствуют в своих целях образцы тех желчных оценок социологии, которыми переполнен интернет. Подчеркну лишь один момент — подозрения в продажности социологов или заведомой ангажированности (подтасовки социологических данных) отнюдь не продукт интеллектуальной работы или мнения изошренной элиты, напротив, это рефлекс низовой культуры, цинического опыта тривиальности обмана в повседневной жизни, массовой убежденности во всеобщей и тотальной коррумпированности российского общества сверху донизу, или, иначе, низкий уровень институционального и межличностного доверия, характерный для тоталитарного и пост-тоталитарного социума. Никакой компетентности или обоснования упреков в «ошибках» социологии критикам не требуется, и чаще всего авторы подобных заявлений их не приводят.

Аргументация третьего типа кажется более сложной и веской: люди неискренни, потому что боятся говорить о своем отношении к власти или не хотят отвечать на те вопросы, которые для них незначимы и непонятны³. Стало быть,

рачиваться от них, так это положил Юрий Левада. Но свое мужество отчаяния есть и в том, чтобы попытаться сохранить свои устои хотя бы тем, что отказываться новым реалиям в реальности. Мы понимаем: для этих людей настоящее — ненастоящее. Это помогает им сохранить веру в то, что еще придет настоящее будущее — такое, как надо». *Левинсон А.* Заоблачный рейтинг как элемент массового сознания. Историческому фатализму есть на что опереться в отечественной истории // Ведомости. № 3838 от 26.05.2015. URL: <http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2015/05/26/593616-zaoblachnii-reiting-kak-element-konstruktsii-massovogo-soznaniya>.

³ См., например, дискуссию «Можно ли верить/ доверять социологии?», состоявшуюся 15.09.2016 г. в Сахаровском центре, где подобные аргументы представляли Е. Шульман и Г. Юдин. URL: <http://www.sakharov-center.ru/discussions/?id=2722>. О проблеме «доверия/ недоверия» и их особенностях в СССР и РФ см.: *Хоскинг Дж.* Доверие. История. М.: РОССПЭН, 2016; *Гудков Л.* «Доверие» в России: смысл, функции, структура // ВОМ. 2012. № 2. С. 8–47. Порождаемое недоверие — это исторически определенное явление, результат или реакция на систематическую политику Кремля, разрывающую межгрупповые связи и коммуникации и подавляющую возможности рационализации текущего положения дел, прежде всего возможности открытого обсуждения политики. Институциональная система власти, имеющая в основе своей насилие (хотя бы в форме лжи или безальтернативной демагогии) порождает с неизбежностью структуры негативной идентичности как базиса общества, что, в свою очередь, компенсируется

проблема в «искренности» или «подлинности» фиксируемых мнений населения, в «правде», посылке, что есть некоторый пласт реальности, который не фиксируется методами нынешней российской социологии (или вообще теми технологиями, на которых строятся массовые репрезентативные опросы¹). О наличии или масштабах распространения такого пласта *коллективных* мнений нет никаких методически операционализируемых, то есть контролируемых по способу своего получения, фиксации и проверки, свидетельств. Предположение, что, помимо конструкций смысловых взаимосвязей, получаемых в ходе социологических процедур (массовых опросов, групповых дискуссий, глубинных интервью и т.п.), есть еще какая-то реальность, представляет собой не что иное, как ценностное утверждение, постулирующее существование объектов (социальных образований), не имеющих методически принятых, то есть подтверждаемых эмпирически, способов проверки и фальсификации². Иными словами, статус этой реальности — метафизика (почти в традиционном значении этого слова). Источник подобных утверждений — внутреннее чувство, обыденный опыт, не знание, а интуиция самих критиков или несогласных с данны-

символизмом имперского стиля, государственно-национальным величием. Большой стиль Великой державы здесь важен как условие освобождения индивида от ответственности за положение дел в тех сферах, которые монополизирует власть, принуждающая к коллективным идентичностям и символам. Одно не может существовать без другого.

¹ Некоторый шум об очередном провале социологов, на этот раз американских, поднялся после победы Трампа и был подхвачен с большим пылом в России (опять-таки здесь первыми отметились все те же авторы: Г. Юдин, Д. Рогозин, Е. Шульман), но потом так же быстро угас, когда после подсчета голосов выяснилось, что Х. Клинтон получила на 2,5 млн голосов больше, чем ее конкурент, и социологи дали в целом правильный прогноз.

² Корректность используемых методов организации массовых опросов, адекватность формулировок диагностических вопросов, гипотезы и т.п. вопросы, разумеется, могут и должны обсуждаться, качество получаемых данных подлежит систематической дисциплинарной критике и проверке. Валидность получаемых научных данных определяется только в рамках соответствующих теорий, которые задают характеристики того, что такое «факт», как он производится (то есть указания на генетические процедуры отбора и сопоставления имеющихся концепций), где проходят границы значимости эмпирических высказываний, доступность для релятивизации и т.п. О чем, видимо, критики социологии не подозревают. Поэтому в данном случае речь идет о более общих мотивах отторжения от социологического знания, которые не затрагивают план профессиональной экспертизы качества социологических опросов. Предшествующая фаза неприятия массовых опросов (в профессиональном плане столько же безграмотная, как и нынешняя) была связана с посылкой, что количественные методы в социологии общественного мнения не «работают», что «подлинное знание» можно получить только путем качественных методов — в ходе глубинного неформализованного интервью, включенного наблюдения или в ходе групповых дискуссий.

ми социологов. Но, как известно, «интуиция» (если обойтись без экстрасенсов и колдунов) — это набор конвенциональных мнений и взглядов, принятых в определенной среде, поэтому не контролируемых, но обладающих особой «эвидентностью». В данном случае — в среде, где концентрация негативно относящихся к действующей российской власти людей значительно выше среднего по России (необязательно при этом открыто выступающих против путинского режима). Здесь «очевидность» подбираемых, удобных для психологического самоподтверждения фактов и нерелексивных посылок задана самоощущением индивида, принадлежащего к этой социальной среде или социальному множеству³. Именно отсюда рождается тезис об «искренности» других респондентов. Другими словами — имеет место перенос своих догматических представлений «на неопределенно широкий круг лиц» (как выражается прокуратура в своем определении «НКО — иностранных агентов»), безапелляционное приписывание «обобщенным другим» своих взглядов и мотивов действия, своих общественно-политических установок и способностей к их артикуляции. Отрицать эти обстоятельства было столь же глупо, как и полагать, что есть «правильные» и неправильные социологические вопросы и ответы.

В этом смысле широко распространенное в среде нашей образованной публики убеждение, что есть «реальность», подтверждаемая практическим поведением, и есть «мифы», ментальные представления, не имеющие соответствия в повседневной жизни, следствие не просто заблуждения, а проявления интеллектуальной и социальной или культурной неразвитости нашего «образованного общества». Суть проблемы в том, *что* значит в функциональном плане предикат существования тех или иных объектов суждения, модальная связка «есть» между ними, какие социальные или символические конфигурации значений она соединяет и с какими последствиями и для кого. Почти сто лет назад У. Томас сформулировал свою знаменитую теорему («Если люди определяют ситуации как реальные, то они реальны в своих последствиях»), социологически строго представившую то, что давно было известно внимательным наблюдателям человеческой жизни:

³ Здесь надо подчеркнуть, что не все те, кто недоволен путинским режимом, могут быть отнесены к «среднему классу», особый тип негативного отношения к действующей власти наблюдается, например, среди социально депримируемых групп населения (пенсионеров, бедных, особенно в провинции, где сильнее распространены остаточные советские или государственно-патерналистские представления).

человек — существо, живущее в мире символов и знаков, которые он создает для взаимодействия с другими людьми и для самопонимания. Этот мир воображаемых или мнимых сущностей — не просто собрание иллюзий, фантомов, идеалов или воплощений страхов, зла, гипостазированных реакций отвращения, бесчестия, подлости, это средства регуляции социальных отношений в обществе, которым научаются, которые, в свою очередь, контролируются, изучаются, накапливаются, образуя историю сообществ, оседают в архивах, библиотеках и других институтах, образующих ресурсы культуры, то есть потенциал «культивирования» человеческих множеств.

Поэтому потребность «не доверяющих социологии» в альтернативной реальности, подкрепляющей их представления, их интересы и надежды, неизбежно выводит их за рамки структурированной научной деятельности, самого института науки (не просто организованного сомнения, верифицируемого познания в какой-то области знания, но и взаимодействия с другими сферами получения знания, обмена интерпретациями и методами, а стало быть, междисциплинарного доверия). Единственная возможность для них обрести искомое состояние уверенности в своих определениях реальности — выйти за пределы сферы социально признанных источников когнитивного авторитета, то есть не просто ставить под сомнение те или иные методические процедуры производства знания, но и отказаться от идеи «культуры», смыслового многообразия. Именно эта редукция сложности человеческого поведения, идентичности, структур взаимодействия стоит за постулатом «реальности», «искренности» и т.п. способов сведения к модели изолированного индивида.

Такого рода социологический солипсизм, или закрытость, изолированность, «монадность» сознания, — результат аморфности (и слабости) представлений о структуре общества, характерных для российской образованной публики¹. Причины этой неопределен-

ности могут заключаться в диффузности и аморфности самой структуры общества и/или подавленности публичных средств рефлексии и дискуссий о состоянии общества, многообразии групп, интересов, отсутствии способов рационализации нынешней агломерации идеологических слоев².

Неразделенность «истины» («правды») и «знания» указывает на невозможность институционализации науки как «организованного методического сомнения», а значит — на зависимость ее от внешних критериев достоверности или правильности получаемого знания, неавторитетность в обществе самих ученых. В нашем случае — в качестве внешнего авторитета, удостоверяющего значимость полученных данных, выступает власть или ее ведомственные или иные представители (включая Минюст, прокуратуру и суд).

Следствием замыкания в кругу близких по образу мыслей людей является целый букет негативных особенностей социального слоя: фрагментация общественной и интеллектуальной жизни³, ригидность собственных убеждений, непонимание и неспособность к учету взглядов и интересов других групп, ограничен-

жи, элиты и др. Но исходным, конечно, для ранней социологии было вполне эмпирически наглядное многообразие новых форм человеческих отношений, типов людей, возникающее в конце XIX — начале XX века, которое исследователи пытались превратить в операциональное множество социальных ролей, типов авторитета, ставших основанием для целых направлений и парадигм в социологии (понимающей социологии, символического интеракционизма, феноменологической социологии, социологии культуры и др.). В России мы имеем дело с обратным по характеру процессом — последовательной примитивизацией взглядов на общество, ставшим заметным с установлением путинизма.

² Гомогенизация (политика уравнивания социальных различий, достижение социальной однородности) общества ведет к стерилизации ресурсов групповой идентичности, подавлению сознания личности своих интересов и, соответственно, потенциала автономности и необходимости репрезентации в публичном поле своих прав и воззрений. См.: Гудков Л. Парадоксы социальной структуры в России // ВОМ. 2016. № 1–2. С. 95–125. Именно отсюда возникает склонность оперировать натуральными (в методологии науки их называют «гипостазированными») целостностями, тотальностями, у которых нет артикулируемого субъекта высказывания («народ», «общество в массе своей», Запад, Россия и т.п., а значит — нет и выделенного или контролируемого субъекта действия, поскольку сам квантор общности — «все», «в реальной жизни», «на самом деле» и пр. — закрывает возможности критических вопросов). Политическая демагогия так эффективна, поскольку она работает с понятиями, происхождение которых заведомо скрыто, а их проследивание логически запрещено (вроде идеологем «интересы государства» или «национальные интересы»; если только начать разбираться с подобными конструкциями, можно очень скоро выйти на то, что за ними нет никакого содержания, кроме интересов тех, у кого власть, и кто претендует на то, чтобы метонимически отождествлять себя и соответствующую понятийную «тотальность» — «государство», «нацию», «страну», «историю», «нравственность»).

³ Об этих явлениях много писал наш коллега Б. Дубин.

¹ Социология знания и идеологии убедительно показывает взаимосвязь интенсивного производства знания с процессами социально-функциональной дифференциации общества. Идущая от К. Маркса идея анализа производства знательных форм в прямой зависимости от тех или иных интересов социальных групп (классов) оказалась эвристически очень продуктивной для социологической разработки. Поэтому она воспринята не только последователями Маркса, но и оппонентами марксизма — М. Вебером, рассматривавшим процесс рационализации как поле взаимодействия идей и интересов, Г. Зиммелем (в его работах по социальной дифференциации, социологии денег, аффектов), З. Фрейдом, К. Маннгеймом («Идеология и утопия») и нынешними социологами науки, литературы, религии, моды, молоде-

ность социально-политического горизонта происходящего, упорный догматизм и самодовольство. Другими словами, слабость собственного участия в общественно-политической жизни (вызванная подавлением свободы политической конкуренции, цензурой, закрытостью доступа к СМИ, узостью горизонта публичных дискуссий) выражается не только в *неспособности к социальному взаимодействию* (отсутствию партнеров), а потому и в вынужденном оппортунизме, но и в вытекающей отсюда крайней ограниченности способности мыслить, в одномерности представлений о структуре общества, склонности к оперированию опредмеченными понятиями (целостностей, диалектики). Обратной стороной этого типа личности оказывается воспроизводство (как и в массе населения в целом) комплекса жертвы и инфантильная пассивность, общее с массой населения сознание «выученной беспомощности». Можно сказать, что мы имеем дело уже с вторичной, то есть со самостерилизацией либерального и прозападного слоя в России¹.

Если внимательно отнестись к рассматриваемому тезису («искренности» или «страха» респондентов перед возможными последствиями участия в опросе, включая страх остаться в меньшинстве, а это две стороны одной псылки), то в нем можно выделить следующие неявные содержательные моменты.

1. Априорно подразумевается: человек — самодостаточное и изолированное существо; каждый индивид (в роли респондента) сам в состоянии рационально и полно определять свое отношение к миру действительности, в том числе к таким чувствительным аспектам, как отношение «к власти», к «историческому прошлому страны», к другим странам, к участию в политической жизни, адекватно и детально (как эксперт) судить о характере конкуренции партий и т.п. Причем его суждения должны быть логически непротиворечивы и обоснованы. Такая модель человека — атомизированного индивидуалиста — воспроизводит характеристики утилитарного эгоиста, или «человека экономического» (в широком смысле, включая и человека «потребностного», как он представлен у Л. фон Мизеса или в пирамиде А. Маслоу). От социологического понимания

человека (институты, роли, образцы, социализация, конфликты) и даже от гражданского («политический человек») такое представление отличается более высокой степенью упрощения (результат сильнейшей социальной идеальнотипической генерализации); оно лишено измерений «культуры», истории, передачи коллективного опыта, общих идеалов или фобий. Подобный подход трактует человека как своего рода микрокосмос, а общество — как агломерат («куча») или множество изолированных друг от друга «монад», но подчиненных не лейбницевской предустановленной гармонии (общему стремлению к спасению, ориентации на общее благо) силовому полю социальности, а силе «механической солидарности» государства, удерживающего их в одном месте или замкнутом пространстве. Такой человек наделяется полнотой свойств «общества в миниатюре», но эта «монада» изолирована от внешних (социальных — групповых, институциональных) воздействий. Он по-бихейвиористски утилитарен в своих действиях, поскольку руководствуется в своих действиях и суждениях преимущественно соображениями пользы или узко понятой выгоды и старается избегать возможного ущерба.

В сущности, такая посылка воспроизводит образцы антропологии XVIII века с его рационализмом и философией «разумного эгоизма», то есть моделью человека, принудительно освобожденного от сословных предписаний и ограничений. Однако такая антропологическая схема явно устарела к концу XIX века или к завершению модернизационного перехода. С появлением социологии, которая сделала своим принципом конституцию реальности как взаимодействия (различных субъектов, групп, институтов при их функциональной взаимосвязи), стало быть, проблеме «понимания» и объяснения Другого, и культур-антропологии, или социальной антропологии, потребовавшей принятия «чужого» как условие его объяснения и релятивизации собственных идеологических и догматических установок, этот образец эгоцентристского понимания реальности и европоцентризма стал уходить на периферию — в сферы экспрессивно-символических медиа (поэзии, массовой, «буржуазной» литературы). Сохранение в России модели рационалистической монады не означает культурную косность общества (застывшего на фазе европейского Просвещения или имитации его эмансипационного порыва, что в какой-то степени было характерным для раннего советского марксизма). Это не инерция просветительского способа мышле-

¹ Надо бы вслед за Пушкиным раз за разом повторять: мы (структуры самоидентичности образованного слоя) ленивы и нелюбопытны. Но обычно обидность этой констатации нейтрализуется тем, что такое определение относится «к ним», а не «ко мне», социальная игра заключается в перемещении барьера или ключа значимости, в том, что «я-то, само собой разумеется, иной, но они все...».

ния, как это могло показаться на первый взгляд, а культурная редукция, деградация, примитивизация представлений о человеке, следовавшая после неудачи постсоветского транзита (рекомбинации прежних институтов, десятилетий советского тоталитаризма в путинизм).

В итоге мы имеем дело с моделью человека разочарованного, лишенного прежних надежд и иллюзий, в принципе уже неспособного к идеализму. Это схема индивида, от которого остались лишь самые элементарные характеристики: антропология потребителя. Другими словами, за таким антропологическим представлением стоит процесс длительного стирания морали, обесценивания собственного достоинства человека (независимо от того, чем это достоинство обеспечено — верой, этосом сословной принадлежности, культурой, знаниями, поведением). Можно сказать, что это результат негативной идентичности — вменение человеку цинической установки, но только в позитивной форме — в виде *институционализации недоверия*. Недоверие в данном случае — это не «отсутствие или слабость» позитивного доверия, а иное субстанциональное качество социальности, которое точно так же усваивается в процессах социализации, как и другие социальные навыки и способности, ему научаются в ходе освоения форм насилия и структур негативной идентичности. Это не только пресловутая бдительность советских людей, навязываемая чекистами и писателями, но и базовая для массового сознания посылка — наличие врагов, внутренних и внешних (фактор «мирового заговора», «враги» как горизонт конституирования реальности действителен для основной массы населения в зависимости от формулировки вопроса их значимость обнаруживают от 52 до 80% опрошенных). И чем более социально активны и ангажированы респонденты, тем сильнее прoustупает в их образе реальности момент «врагов»¹.

¹ Для нашего разбора важно отметить два обстоятельства: отсутствие собственно публичных — научных или общественных — дискуссий ведет к тотальным подозрениям и безапелляционному характеру обвинений; и то, и другое связано — невозможность дискуссий и выбор самого примитивного объяснения, мотивированного стремлением символически уничтожить, дискредитировать оппонента, а не прийти к некоторому консенсусу в понимании. Невольно вспоминается диагноз О. Фрейдберга: «Всюду, во всех учреждениях, во всех квартирах чадит склака, это порождение нашего порядка, совершенно новое понятие и новый термин, не переводимый ни на один культурный язык. Трудно объяснить, что это такое. Это низкая мелкая вражда, злобная групповщина одних против других... разжигание низменных страстишек одних против других. Напряженные до крайности нервы и моральное одичание приводит группу людей в остервенение против другой группы людей или одного человека против другого. Склака — это естественное состо-

В свое время эту базовую идеологию «голого» или «естественного» человека разобрали Стругацкие, описав его в виде серии мысленных экспериментов над лабораторными кадаврами². Такое существо может характеризоваться лишь «наличием потребностей», которые «растут» по мере созревания социализма, от первичных «материальных» к «духовным». Тому, что в России практически безраздельно господствует — и в массовом, и в элитарном сознании — антропология «человека экономического» (целерациональная схема социального действия), мы обязаны рецепции и глубокому усвоению вульгаризованного марксизма, плановой экономике, уравнительному распределению, то есть тотальной бюрократии, вытеснившей из институциональных практик, включая образование, сентиментализм любого рода, и заменившей его в свое время, в конце 1920-х — начале 1930-х, идеей насилия как матрицы социальных отношений. Крайне важно отдавать отчет при анализе новейших процес-

ание натравливаемых друг на друга людей, беспомощно озверевших... Склака — альфа и омега нашей политики. Склака — наша методология». (В кн.: Пастернак Б. Переписка с Ольгой Фрейдбергер. Нью-Йорк: Лондон, 1981. С. 291.)

Тотальность этих базовых установок образует общий фон негативного понимания человека, как у демократов, так и у представителей власти. Оно нашло отражение в законе об иностранных агентах, когда обвинители освобождаются от необходимости доказывать основательность своих заключений, а вместо этого довольствуются самой общей посылкой «объективной возможности», не требующей аргументации и подтверждения фактами (вроде коллективной вины народов, классов, этносов и т.п.), равно как и в реакциях кремлевских комментаторов на внесение Левада-Центра в реестр иностранных агентов. Получали деньги от американского университета? Так о чем речь — «кто девушку танцует, тот ее и имеет...».

² Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу». Понятно, что данный персонаж представляет собой пародию на советскую антропологическую модель «каждому по потребностям». Но стоит принять во внимание то, что такая модель человека исходит из идеи «чистого листа», абсолютной пластичности и возможности делать с человеком все, что представляется важным, исходя из идеологии или интересов господствующего класса (оно, кстати говоря, присутствует и у Д. Травина, абсолютизирующего влияние пропагандистской машины для промывания мозгов. Поэтому его рассуждения, лишенные агрессивной демагогии, характерной для упомянутых выше «профессиональных социологов», так показательны и интересны). Такое идеологическое представление, отрицающее реальность фактических социальных отношений и связей, обусловлено многими факторами: сильнейшей эрозией и распадом традиционной сословной социальной структуры, социальными катастрофами двух мировых и гражданской войн, чекистским террором и прочими катаклизмами советского времени, закрепившими аномию в качестве массового нигилистического отрицания культуры. Но именно такого рода резидуумы и лежат в основе советской ментальности, прежде всего в сознании и административной культуре бюрократии (а значит — интеллигенции как образованного чиновничества) и воспроизводятся в настоящее время как в административной и политической службе режима, так и в оппозиции.

сов, что именно такое понимание человека образует основу, самые глубокие слои сознания нынешнего человека, над которым уже надстраиваются слои потребительской культуры, гедонизма человека, мечтающего, но не могущего уйти, освободиться от принудительного аскетизма распределительного общества-государства — от идеи государственного патернализма, от мысли, что государство должно обеспечивать людей хотя бы минимумом социальных благ, без которых человек выжить не в состоянии (в ноябрьском опросе 2016 г. эту норму подтвердили те же 52% опрошенных). Но признание этой особой роли государства означает признание крепостного характера отношений власти и подданного (в нашем случае не имеющих ничего общего с идеологией и практикой welfare state).

2. Это атомизированное понимание природы «респондента» характерно главным образом для образованного слоя (русской интеллигенции, в самом общем виде — тех, кто ориентируется на круг представлений, производимых и тиражируемых New Times или «Эхом Москвы»), включая и профессиональное сознание большей части русских социологов. Массу населения как раз отличает готовность принять для самохарактеристики различного рода «возвышающие» определения, предлагаемые или даже навязываемые пропагандой — патриотизм, «духовность», «религиозность», превосходство своей страны над другими, доброту, готовность к помощи другим и пр., что образует материал для имитационного тоталитаризма и поддержки «вождя» нации. И это не просто перья для украшения, а та «искусственная кожа», которая «приросла» и без которой люди уже не мыслят себя, как показывают данные массовых опросов.

Именно это обстоятельство отказывается признавать критически настроенная к режиму образованная публика, для которой «естественна» и «нормальна» модель Homo economicus, человека экономического¹. Это не доступное рефлексии, глубоко лежащее представление о человеке указывает на инерцию или воспроизводство некоторых остатков советского марксистского мировоззрения, крайне примитивного, сниженного понимания человека и общества, без морали и метафизических представлений о добре и зле, с «потребностной» антропологией планово-распределительной

экономики и соответствующей политической «культурой господства и подчинения».

Можно назвать два обстоятельства, повлиявших на нигилистическое представление о человеческой природе в нынешнем русском обществе: а) остаточное понимание марксизма о «пролетариате, которому нечего терять, кроме своих цепей» (то есть идея нищего человека, подлежащего эксплуатации и произволу власти); б) идея принудительной уравниловки директивного, планово-распределительного социализма, представление о том, что человеку нужен известный минимум благ для существования. Постсоветское «политическое» мышление отталкивается именно от минимума, необходимого для выживания. Сам по себе стандарт этого «минимума» может с течением времени повышаться, но суть мышления этого типа заключается прежде всего в установлении самой идеи «минимума», нормы «голового человека», естественного человека, такого, как «все», а значит, введения вменяемого всем модуля для генерализации и унификации, идентификации всех в категориях нескольких «типоразмеров» для расчета массы этих «всех». Важно, что не идея представительства многообразия, самоуправления, федерализма, а именно распределительное планирование социального мышления как основа бюрократии остается латентной нормой антропологического оперирования и достижения всеобщего консенсуса. Поэтому расползание государства по всем сферам общественной жизни, от экономики до образования, практически не встречает сопротивления или даже, напротив, получает общее одобрение в идее «единства власти народа», «единства России»². Господство над обществом или населением идет через восстановление и утверждение идеи «все» как «один». Такое понимание человека влечет за собой одномерное понимание социума (то есть стирает возможности помыслить различия стратификационного рода, многообразие социальной и культурной морфологии общества, а значит — ресурсы и потенциал самодостаточности и социальной уникальности). Допускается этническое и региональное разнообразие, но и в этом случае базовым антропологическим шаблоном мыслится «голый человек», лишенный собственных качеств, а потому наделяемый

¹ Критический анализ этой модели см. в статьях Ю. Левады: «Проблемы экономической антропологии К. Маркса» и «Культурный контекст экономического действия». В кн.: *Левада Ю. Статьи по социологии*. М., 1993. С. 61–70, 71–87.

² С 1998 г. доля экономических активов, принадлежащих или контролируемых государством, выросла с 26 до 70%. Мнение, что «спецслужбы выполняют очень важную роль и их нынешние полномочия вполне отвечают этой роли», разделяли 58% опрошенных в ноябре 2016 г. (не согласны с этим, «спецслужбам дана слишком большая и бесконтрольная власть», лишь 23%, ноябрь 2016).

в потенции свойствами «всего целого» — простейшими способностями инструментального и адаптационного поведения (=выживания, мотивацией элементарной «пользы»).

Хочу еще раз подчеркнуть: здесь полностью отсутствует собственно социологическое понимание — идея, что человек — социальное существо с длительным периодом социализации, то есть интернализованного воздействия самых разных институтов, включая идеологические, политические. Это значит, что он формируется, усваивая стереотипные (институциональные) стандарты представлений и мнений и, следовательно, мыслит в этих категориях и клишированных формах. Но «думает» не он, а «коллективное сознание» — агломерат различных, многократно опосредованных сведений, суждений, информационных потоков СМИ, прошедших селективную проработку на различных фазах социальной коммуникации, оценок неформальных лидеров мнений и механизмов группового консенсуса, приобретая тем самым характер санкционированных суждений действительности. Сам по себе он в состоянии только *получать* информацию о событиях, явлениях и процессах, выходящих за рамки его непосредственного повседневного опыта, жизни в рутинных формах обычного, повторяющегося взаимодействия с одними и теми же людьми, но не может их осмыслить, не обладая соответствующими средствами или доступом к тем каналам, где такая критическая рационализация имеет место¹.

Образованная публика переносит на респондентов свои собственные комплексы и фобии, то есть наделяет другие социальные группы своими желаниями, установками и представлениями.

Я и мои коллеги настаиваем, что в ходе полевых исследований социолог получает не сумму индивидуальных мнений (среднеарифметическое частных представлений, совокупность каждый раз отдельно выработанных взглядов и убеждений независимых субъектов — асоциальных робинзонов), а устанавливает значимость

коллективных представлений, измеряет их принудительную силу. Социальное представление (стереотипное мнение) — это не просто фиксация некоторых эмпирических обстоятельств, а смысловое образование, имеющее характер безусловной обязательности или необходимости своего признания, обладающее свойствами нормативности. Для отдельного индивида они важнее, чем свои собственные попытки интерпретации событий (последние могут образовывать слой двоемыслия или «задних мыслей»). Их механизм усвоения — другой, чем обстоятельства повседневной жизни, а потому они поступают в другом, **безусловном**, модусе значимости, чем рутинные элементы повседневных взаимоотношений. Отклонение от них или непризнание вызывает негативные реакции окружения (= групповые или институциональные санкции разной силы действия — от недоумения и насмешки до возмущения и ярости), а стало быть, страх оказаться в меньшинстве или в статусе маргинала². Соответственно, те, кто высказывают отличные или не совпадающие с общим мнением суждения, квалифицируются как «девианты» в той или иной степени: как «чужие», «ненормальные», характеризующиеся «вызывающей» или неприемлемой манерой поведения (что собственно и проявляется в суждениях «социологи продались», фальсифицируют реальность и т.п.). Жесткость коллективных представлений зависит от степени дифференцированности социальной системы или характера культуры и сферы деятельности групп — чем более сложной (многообразной) в интеллектуальном и социальном плане оказывается профильная деятельность группы или института, к которым принадлежит индивид, тем более терпимой оказывается группа к вариантам мнений и суждений, и напротив, чем ниже социальный статус индивида, тем более жестким, догматичным и безальтернативным оказывается характер артикулируемых им мнений. Поэтому, как полагал еще Э. Дюркгейм, автор этой теории и способа интерпретации социальных фактов, «коллективные представления» обладают своей собственной нормативной реальностью и логикой развертывания. Объяснение «присоединение к большинству», «спираль молчания», сила коллективного оппортунизма и конформизма, вообще — коллективные «чувства» и мнения — это лишь специальные развертывания данной

¹ Неловко повторять все эти социологические азы, но это делать надо, поскольку даже у молодых и амбициозных университетских преподавателей, выступающих с критикой исследований Левада-Центра (по отношению к другим исследовательским институтам она не ведется, может быть, в силу косвенного признания значимости работ нашей организации), отсутствуют элементарные основы профессионального социологического видения. Начетничество и эпигонство в наших университетах, знание иностранных языков и особая леность ума блокируют интерес к действительности, выхолащивая в России социологию как науку. Я бы назвал это «эндемическим теоретическим кретинизмом», имеющим, разумеется, не личное, а коллективное происхождение.

² Ср. нападения членов НОД, «Антимайдана», казачков, «офицеров России», православных хоругвеносцев на участников различных протестных пикетов, на школьников-конкурсантов в «Мемориале», на Л. Гозмана и другие подобные «происшествия».

теории. Но, хотя такое социологическое видение общества, человека и социальных институтов представлено давно, более ста лет назад, оно оказывается недоступным для понимания российского образованного обывателя, пусть даже называющего себя «социологом».

Исследователи, занимающиеся социальной эпистемологией, давно фиксировали принципиально важную особенность массового восприятия и структуры интерпретации социальной, политической действительности: восприятие, осмысление и понимание происходящего определяется кумулятивным опытом социального взаимодействия в обществе, задающего *априорную структуру интерпретации и схватывания, считывания смыслов* различных действующих лиц и их устойчивых, повторяющихся взаимодействий, то есть упорядоченных социальных образований. Если в социально транслируемом опыте общественной жизни нет тех сложных отношений — доверия, гуманности, солидарности, идеализма, морали и т.п., которые структурируют символические отношения высокой степени опосредованности (рафинированные мотивы человеческих поступков — веру, истину, добро, порядочность, а также деньги, теоретические понятия)¹, то такие смысловые значения просто не будут приниматься во внимание. Они ничтожны, социально не значимы, невидимы для всех или, что более важно, в некоторых случаях они будут ощущаться как чистая негативность, а их отсутствие станет источником бессознательных фрустраций и неврозов, комплексов коллективной неполноценности².

Страна, общество видятся при этом не в понятиях групп, институтов, социального многообразия образований и взаимоотношений, исторических напластований, а в виде однородной массы, противопоставленной либо власти («государству», апроприированному неким кланом, семьей, группировкой), либо тем, кто претендует на авторитет. Эта масса образована как голографическая проекция говорящих, но только в аспекте потенциального материала преобра-

зования или управления, клонов с одинаковым типом сознания. Поэтому нехватка социального воображения (или, точнее, «дереализация» сложных моментов социальной жизни, их противоречивости, многозначности) — это следствие неразвитости общества, отсутствия опыта коммуникации, взаимодействия с другими социальными персонажами. Можно относить этот дефект к неспособности учитывать, принимать во внимание мнения других групп, их интересы и представления, но можно рассматривать его как сознательное или бессознательное *стремление к подавлению значимости Другого или других*, лишение их ценности как социальных или антропологических субъектов. Такая интенция ясно прослеживается в действиях как власти, так и зеркальной по отношению к ней оппозиции. В институциональном плане мы тогда имеем дело с одномерной социальной структурой, недифференцируемостью ветвей власти (зависимость законодательной и исполнительной структур от реальных властвующих лиц или корпораций), массовой политической апатией, внутренней репрессивной политикой, атрофией гражданского общества и таких институтов, как наука, образование, культура и т.п.

Интеллектуальная блокада сложных социальных, политических, моральных явлений нынешней России обусловлена не просто неспособностью образованного российского общества, воспитанного и социализированного в качестве кадров для будущей бюрократии, вообразить себе другие типы отношений, нежели рационально-инструментальные³. Нельзя понимать сложные явления в обществе с примитивной структурой, поскольку основанием для понимания и восприятия реальности всегда является структура социального взаимодействия; если этого нет в опыте, то нет в средствах объяснения и понимания.

Социология рождается из «духа общества» (Э. Дюркгейм), то есть отношений взаимной заинтересованности и солидарности, а не из отношений господства (которые убивают или стерилизуют многообразие и многомерность человеческих связей). Ее средства — это всегда средства самоанализа, понятийный инструмент, созданный из рационализации и

¹ Их статус можно назвать «трансцендентальным», их регулятивная значимость соотносится с референтными значениями, не имеющими семантики насилия и связи с утилитаризмом. Как говорил Кант, это «незаинтересованные» установки и отношения.

² «Значимое отсутствие» осознается только в системе коммуникаций с другими обществами или информацией из других стран, что становится неизбежным по мере распада режимов «закрытого общества», после краха СССР, появления интернета или роста общей грамотности, включая и знание иностранных языков, появления продукции массовой или элитарной культуры, если она не маркирована как идеологически вредная. Это некое «томление» по вере, демократии, утопия лучшей жизни, воплощенная в том числе и в образе идеального Запада.

³ Парадокс заключается в том, что в своей частной жизни люди живут гораздо более разнообразной и сложной по своим мотивам, нюансам взаимодействия, богатству эмоциональных состояний жизнью. Но все это многообразие лишено определенности, четкости, маркированности, структурности осознанного восприятия и осмысления. Отсюда невроз кичевой сентиментальности, в обилии представленной на телеэкранах и, видимо, пользующейся повышенным спросом со стороны аудитории, испытывающей дефицит образцов для самоидентификации и уверенности в себе.

идеально-типологической проработки смысловых структур социального действия. Они не могут быть привнесены извне, они появляются только в результате собственной внутренней интеллектуальной работы данного общества (общественности). Если такой работы нет, то нет собственно социологии или она используется в качестве инструмента «оптимизации» управления, то есть технологии власти. Если ее нет, то это значит — нет, не появляется и «общество» (а не только «социология»).

Попытки эпигонского переноса понятийного аппарата западной социологии играют в этом плане функцию декораций современного общества, имитирующих чужую реальность, скрывая, затушевывая реальные структуры взаимодействия совсем другой природы. Недоверие к социологии — это недоверие дикарей к современной технике, смысл которой туземцам недоступен. Социология (как наука, как особое видение действительности, а не как набор рецептов и приемов интерпретации) в этом плане оказывается более сложной системой объяснения человеческой и общественной жизни, нежели те объяснительные схемы, которые приняты в российском обществе, все равно — в более продвинутых, «элитных» кругах или в средних слоях и в низовых группах населения.

Поэтому дело не в дефектах восприятия действительности или в неправильных формулировках задаваемых населению вопросов, а в отсутствии общей концептуальной рамки, следствием чего оказывается неспособность к пониманию логики процессов в посттоталитарном социуме, оказавшемся перед чередой нарастающих кризисов.

Однако отсутствие подобной системы координат лишь на первый взгляд кажется связанным с дефицитом средств объяснения. Проблема, как мне представляется, требует более глубокого уровня понимания: речь должна была бы идти о внутреннем параличе и самостерилизации посттоталитарного образованного сообщества, в его ценностной неспособности к пониманию, отказе от понимания. Внешним выражением этого оказываются крах и поражение оппозиции, не способной предложить убедительного для массы будущего. Но это опять-таки всего лишь общие характеристики состояния людей в деморализованном сообществе.

Конец идеологии и политической парадигмы демократического перехода

Бедность или дефектность социально-эпистемологических установок и, соответствен-

но, отсутствие средств схватывания и интерпретации реальности в сильнейшей степени определяются идеологической догматикой перестройки и постперестроечных лет. Раз нет оснований, подготавливаемых социальным опытом коммуникации, нет и ресурсов для социального воображения. Поэтому общественное восприятие происходящего весьма ограничено. Не хватает главным образом понимания и учета тех структур, которые направляют наше внимание на последствия, оставленные в коллективном сознании коммунистической идеологией и практикой советского государства. Но разберем вначале первый тезис.

Исходная посылка, давшая начало систематическому искажению понимания происходящего у либеральной или прозападной части российского общества, заключалась в идеологии демократического транзита (или «революции 1991 г.»), в который Россия вступила после провала ГКЧП и начала реформ 1992 г. Сегодня отчасти уже осознаны те пороки мышления младореформаторов и их патронов во власти: это ограниченность мышления, которая проистекала из принципов экономического детерминизма в понимании человеческой и социальной природы. Все держалось на принципе: в России проводятся рыночные реформы, проводятся «сверху»¹; рынок автоматически включает все прочие необходимые системно-институциональные изменения, надо лишь провозгласить набор первоочередных законодательных решений, и все само собой пойдет как должно, поскольку так было в других странах переходного состояния, с течением времени ставших «нормальными», современными, развитыми обществами². А решение возникающих проблем должно опираться на

¹ То, что характер их реализации отвечает прежде всего интересам руководства страны, при этом либо не создается, либо не принимается во внимание.

² Дело не в том, «объективно правильной» или «неправильной» была та посылка. Важно, что ее латентными следствиями было воспроизводство государственно-патерналистского сознания масс, в данном плане — представление о необязательности участия (и ответственности) масс. «Власти лучше нас знают, как надо и что делать, мы политикой не занимаемся, а если и включаемся в какие-то акции и демонстрации, то всегда только с разрешения и с санкции начальства». Поэтому политика реформ сопровождалась массовым сознанием «я не могу влиять на политические решения», «сам по себе я ничего изменить не в состоянии», или иначе — «сделать ничего нельзя» (впрочем, верно также и в форме: «даже если бы и мог, не хочу и не стал бы»). Ср.: интеллигентское — «я испытываю отвращение к политике», «я вне ее», «она меня не интересует» и т.п. Это не элитарно-эстетская позиция человека, закрывшегося от всех в башне из слоновой кости, а характерный для всех авторитарных или тоталитарных режимов массовый оппортунизм (или низовая обывательская трусость).

государство, обладающее монополией на легитимное применение средств насилия (из всего наследия Вебера демократы охотнее всего ссылаются именно на этот тезис). Другими словами, как говорил когда-то А. Стреляный, ссылаясь на свою мать, «как силой загоняли в колхозы, так силой придется их и разгонять». Принцип, как выяснилось, чреватый последствиями, поскольку перехват средств насилия от реформаторов к консерваторам не только был возможен, но обязательно должен был произойти, учитывая 1993 г. и затяжную чеченскую войну¹.

Другими словами, идея демократического транзита (после первых шагов правительства Гайдара) оказалась не долгосрочной программой действий, не мотивацией практической деятельности, а компонентом групповой идентичности, основой самоуважения и самооценки демократов. В этом качестве функция идеологии транзита состоит в регулярном самоманифестировании, утверждении и подчеркивании границ своей группы, проведении барьера между «своими» и «чужими», в ритуальных разговорах, но не в участии в политической организации или, что может быть еще важнее, не в признании фактической расстановки сил и оценки ситуации. Последнее обстоятельство кажется не столь значимым, хотя именно оно указывает на стремление дистанцироваться от других социальных групп и неспособность учитывать их взгляды, интересы, оценки ситуации, а значит, отсутствие готовности или нежелание взаимодействовать с ними, что оказывает парализующее воздействие на потенциал развития гражданского общества или общества как такового, учитывая функциональную значимость и роль коммуникативных и представительских систем для современного, сложно дифференцированного социума. В этом и заключается

¹ Трудно удержаться от сопоставления с ситуацией, предшествующей приходу нацистов: «...режим Брюнинга явился первым опытом и, так сказать, моделью того образа правления, который с той поры получил распространение во многих странах Европы: полудиктатуры под именем демократии для защиты от настоящей диктатуры. Тот, кто даст себе труд подробно изучить период правления Брюнинга, без труда обнаружит, что здесь имелись образчики всех элементов, которые в результате неизбежно делают вышеупомянутый тип правления предварительной школой того, что он, собственно, должен подавлять. Эти элементы — деморализация своих собственных сторонников; выхолащивание своей позиции; приучение к несвободе; идейная безоружность перед вражеской пропагандой; передача инициативы противнику и, наконец, капитуляция в тот момент, когда все упирается в вопрос о власти»... (Хафнер С. История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. С. 98–99). «Далеко не каждый в Германии, кто стал нацистом, ясно сознавал, кем он на самом деле стал» (с. 115).

один из элементов абортивного механизма российской эволюции.

Причины (и механизмы) данных явлений остаются в этой среде непонятыми, поскольку у либералов нет возможностей рационализации их последствий. Но не потому, что мы имеем дело с умственной или культурной ограниченностью, отсутствием информации, допуска к литературе, к источникам образцов или интерпретаций, а в силу внутреннего сопротивления признанию положения вещей и собственной несостоятельности. В этом контексте достаточно деклараций для поддержания групповой идентичности и обеспечения групповой гратификации (как это было в интеллигентской среде в советское время).

Второй тезис заключается в том, что последствия советской тоталитарной системы остаются не видимыми и не осознаваемыми представителями социальных наук в России. Более чувствительны к этим воздействиям люди искусства — писатели, режиссеры, художники, но они не в состоянии дать своим социальным и этическим «ощущениям» понятийную проработку и форму (что было бы нелепо требовать от них). Проблема в том, что то, о чем люди искусства пытаются в свойственной им манере косноязычно говорить и скорее показывать, инсценировать, не объясняя и не интерпретируя показываемого, не слышат люди науки или политики, те, кому принадлежит поле публичной дискуссии и рефлексии, и это тоже часть наследия советской жизни.

Как уже приходилось писать, антропологический стандарт человека («норма» человека) в российском обществе основан на представлении о квалифицированном промышленном рабочем. Рабочие — это и есть российский модельный «средний класс», запросы, стандарты мышления, горизонт представлений которого выдаются и навязываются в качестве социализационной нормы для всех. Действительно, оценки и взгляды рабочих, если исходить из материалов многолетних социологических опросов Левада-Центра, оказываются ближе всего к средним показателям по большинству тематических измерений. Дело не только в том, что взгляды и оценки этой группы оказываются статистически ближе всего к средним распределениям по массиву данных, но и в том, что предполагаемые или воображаемые мнения и взгляды рабочих оказываются «нормой большинства» (хотя рабочие и не составляют самую большую социально-демографическую категорию опрошенных), на кото-

рую мысленно ориентируются другие группы населения как на референтную категорию общественно-приемлемых представлений. Поэтому ни интеллигенция, ни тем более давно исчезнувшая аристократия или буржуазия, как высшие и привилегированные страты, воплощающие в себе высшие ценности данной культуры, идеальные возможности жизни (в любом случае — не какая-то другая категория общества, авторитет и значимость которой основана на демонстрации высших достижений), сегодня не выступают в качестве даже воображаемых или условных референтных групп или источников авторитета, объектов подражания или частичных заимствований образа жизни, морали или поведения. Напротив, пролетариат (то есть идея инструментального действия, исполнителя, массового государственного человека) оказывается в данной системе координат образцом для сравнения и снижающей оценки других ценностных образцов, прежде всего форм автономной субъективности. Рабочие, как отмечают все социологии и историки, занимавшиеся рабочим классом, в силу своей роли и социальной специфики отличаются как раз антиинтеллектуализмом и недоверием к высоким значениям культуры. Еще С. Липсет¹ писал, что латентными следствиями распространения ментальности рабочего класса оказываются авторитарная структура общества, склонность

к уравнительной системе гратификации (соответственно, дефицит распределения уважения по критериям достижения, таланта, компетентности) и ограниченность горизонта и понимания происходящего, отсутствие стремления к культивированию и облагораживанию жизни, рессантимент и некоторая грубость нравов. Выдвижение рабочего в качестве образца всегда будет иметь следствием тенденцию к внешнему управлению поведением (out-directed man), снижение или замедление социальной мобильности. (В этой культуре отсутствует или ослаблена идея будущего как социального подъема, вертикальной мобильности или обогащения и одновременно очень значима демонизация всего, что чужое и непонятное.) Воспроизводство авторитарных и тоталитарных образов реальности — общества-государства, политиков как хищников (негативный отбор людей для власти — «крысиных волков», по А. Зиновьеву), здесь выступает как логическое развитие идеи склоки и всеобщего недоверия, отсутствия источников авторитета и общества.

Поэтому рецидив или имитация тоталитарных практик, последовавшие после 2014 г., это не отклонение, а логическое развитие тех элементов, которые уже присутствовали в сознании не только массы населения или власть имущих, но и сторонников демократии, западного пути развития. Но об этом в следующей работе.

¹ Липсет С.М. Политический человек. Социальные основания политики. М.: Фонд «Либеральная миссия — Мысль», 2015. Гл. 4 «Авторитаризм рабочего класса», с. 115–212.